

Елена МИХАЙЛИК

Елена Михайлик родилась в Одессе, окончила филологический факультет ОГУ. С 1993 года живёт в Сиднее, преподаёт в университете Нового Южного Уэльса. Доктор философии. Стихи и статьи публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Премия Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования» (2019). Автор четырех книг стихов. В «Волге» стихи публикуются с 2013 года.

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным квазарам,
Поскольку разумных квазаров вовек
Не видел он даже в кошмарах.
И чуть приглядел по дороге корчму,
Когда Солженицын явился ему...

Узнай, современник, чье время – обрез,
Что лучше тебе застрелиться,
Чем с лучшей теорией наперевес
Влезать к историческим лицам,
Все физики мира давно говорят,
Что синтез опасней, чем просто распад.

Не знает никто, чем Олега задел
Певец возрождения Расеи,
Поскольку воронка на месте двух тел
Сияет, дымится доселе,
Над ней трехметровая репа цветет,
Корова порхает и славу поет.

Слово парус теперь не рифмуется со словом «гларУс»,
потому что гларУс (серебристая чайка, жуткая сволочь) поменял перо, ударенье,
паспорт,
спер ближайший субтропик, с ним отъехал на Русь,
а Эвксинский понт за ним следом: «Я ж доберусь!
Я ж тебе, ворюга, припомню гадостный вкус
и загаженный транспорт»

Вот изменник-гларУс бежит из Руси в Литву,
что украл, куда уронил (и с какими последствиями) молчит, натурально,
ибо в клюве тащит субтропик, сумку, чью-то голову, булаву,
ну а порт пяти морей и не думает грозить (и писать) летучему существу,
потому что, во-первых, весь этот бред теперь еще расхлебывать (наяву),
ну а, во-вторых, пять морей нынче плещут ему теплую синеву

совершенно буквально.

Вот поганец-гларУс бежит из Литвы туда,
где полярный круг слои откладывает на старость,
покидает озадаченные немерзлые города
(всю копченость упер, потому что ей не лежалось),
золотые джунгли, облачные стада,
и взбешенную сельдь, орущую: «Жуть, беда!
где любимая ледяная моя слюда?
Здесь теперь саргассы растут, не зная стыда,
и Гольфстрим проникает страшно сказать, куда,
и испорчена окружающая среда»
(в общем, давит на жалость)
«И меня, салаку, предала, зацвела родная вода...
буду есть, ну что мне осталось...»,

он влетает в пургу, сминая ее дотла,
там из полюса ледяная торчит игла,
он хватается, тащит – сквозь сетку, сквозь «не могу»,
и уже в стратосфере, где блещет звездный стеклярус,
над космической станцией (кружево, щегольство),
видит парус, отражается от него...
и становится – глАрус.

Когда поэт, для сложности обозначенный как Орфей,
ловит по автомобильному радио россыпь абсурдных фраз,
он думает не о пересохшей способности писать – тем более о своей.
Понимает: кому-то пришел приказ.

Всего пять лет от большой войны, новые привычки не родились,
жизнь медленно нарастает на старых, висит лоскутами.
А все, кто хоть раз слушал ночные новости, знают, что летящий в эфире
сюрреализм
отзывается налетами на поезда и взорванными мостами.

Кто-то здесь работает с бытиём, но у них пробой, у них потерян приём,
отвалилась связь с центром, утеряна точка отсчета,
мир расстроен вдрызг, и если подпольщик в диссонансе, в дыму, не услышит
слов, адресованных не Орфею, а, конечно, ему,
то не встанет и не пойдет совершать работу.

Если же срастить эфирную медь, встроиться в цепь, оказаться посредь,
то это шанс сделать дело... и попутно сделаться целым.
Ну а что ночью непосредственно смерть уже приходила на него посмотреть...
Так на кого она в эти полвека еще не смотрела?

Ты приемник, ретранслятор, тем и хорош, что надежно передаешь

сказанное в тебя – всем, кто оказался на дистанции крика.
А кого и кому ты этим уступаешь и отдаешь...
ты не знаешь – и что тебе в том? ты ловишь, кодируешь и поешь.
А потом откроется дверь и войдет Эвридика.

Что впереди по курсу – вполне рай или не вполне рай? –
не разобрать не только пейзажа, но имени своего.
Чем можно заняться в этом тумане? Например, наливать чай,
пока в наличии жизнь и чай – и, возможно, после того,
вовсе не отличая, перешел ли пейзаж в полет,
где край у стихотворения, о какую сферу предметы бьются,
и что это за растение, что потихоньку пьет
из костяного блюда.
Допустим, земли не видно, допустим фарватер пуст,
никто не летит над водами – зримо или незримо,
но листья тянет в пространство испуганный чайный куст –
укладывает молекулы, чтобы возникла рифма,
и материя вспоминает на ощупь и наизусть –
себя, от эдиакарской фауны до желтых трамваев Рио.

Гаттерия

Напоминает курицу.
Имеет статус клювоголовой.
Не владеет видом на жительство.
Располагает временным правом отражаться в зеркалах
и водных поверхностях.
С тех самых времен и располагает –
некому отменить.
(Вымерла та инстанция.)
Снабжена соседями по коммунальной норе.
Укомплектована третьим глазом.
Скверным метаболизмом.
Неспособностью читать
собственные свидетельства в песке и лаве,
грозе и буре.
Долгой памятью.
Готическим ажурным черепом.
Умением обозначать границу
между живым и страшным.
И генетически закрепленным намерением
не спрашивать разрешения.

Добрый доктор Айболит
Кашалоту говорит:
– Если этак объедаться,
Вас сам Бог не исцелит.
Вы плотали весь поток
Из Иаффо на восток.
Так, представьте, доигрались:
В животе у вас – пророк.

Отвечает грустный кит:
– Эта сволочь так болит,
Будто не примат залетный,
А как минимум болид.
Он гудит, гремит, горит,
Мой живот животворит,
Я забыл, как есть кальмаров,
И сбиваюсь на иврит,

Высохшие города
Снятся мне, а не вода,
Перевернуты растенья
И растут невесть куда...
Нет примет, не сыщешь тени,
Милости и поколений,
Что хотя бы помнят, как
Отличают зло от... как же?,
Сам забыл, а помню жажду,
Злобу, ужас, смертный труд,
Невозможность хоть однажды...
Пусть он выйдет, пусть он скажет,
Пусть хоть эти не умрут...

Добрый доктор Айболит протягивает голос внутрь кита и спрашивает: «Может, хоть его послушаешь?»

И потом, в сороковые,
Отрываясь от стола –
Вот кресты поверх стекла,
И киты сторожевые
Встали в небе над рекой
На гравюре городской...
Что ж там вышло с Ниневией?

Отбросив и крыла, и руки,
Гиперборейская чума
Ушла в габонские гадюки
От прибавления ума.
Была в законе, не в загоне

Среди отеческих траншей,
Но всё-таки теплей в Габоне
И можно мирно спать в Габоне,
Лежать как коврик на газоне —
И есть не граждан, а мышей.

То, что шуршит в часах, все, что воплощено,
ангелам в небесах просто воспрещено.
Нет, не соитье — грех, не нарушение схем...
там, среди райских рек, времени нет. Совсем.
Не угадаешь сам и не возьмёшь из книг —
если слетают к нам, время вступает в них,

*делит на сон и дом, ветер и шелуху,
песенку за углом, розовую ольху,
точное щегольство строчки, моста, тепла,
смерть посреди всего, смерть посреди во всем,
кстати, опять прошла
и не идёт назад слова моста узла
прошлого нет распад прошлое есть подряд
воздух плывёт стеклом воздух огнём течёт
песенка за углом снова потерян счёт
нет никакого где кембрий палеоцен
женщина входит в день —*

мир удивлён и цел,
ангел глядит в неё как в цветное окно,
видит надзвёздный лёд, видит чёрное дно,
видит распад систем, видит дискретный свет,
может вместить их все,
там, где её крыло держит небесный свод,
воду, песок, число,
сам себя узнаёт, «кто» своё и «зачем»,
и говорит «Привет». В общем... запрещено.

I.
Полоумный паук плетет сопроматный шелк,
и ему все равно, проскрежещет лесом танк или я пройду,
он залетную гостью ждет паковать в мешок,
у него такие планы в этом году —
если кто-то огромный, грохочущий, городской,
лишь едва различимый сквозь ветви и тошноту,
не сметет паутину башней или рукой,
не склюет на лету.
Он плетет как тянется день и не знает, что если взять для основы и для утка

то, чем он охотится, клеит дом, сводит границы сна –
то потом будет плыть как река,
безупречно держать и разрыв, и свет золотистая лучшая в мире ткань.
вот и мы не зна...

II.

А потом – в тексте лагуна, в небе луна,
в мире опять никто ничего не зна... прочерк, прилив, секрет –
ветер приходит до дна, до изнанки льна,
с той стороны говорит Когелету: «Нет»
Для него не имеет значенья, где польза, что суета,
покуда летит – и жив.
Все равно подхватит прах (слово, облако, тень листа)
и запустит гончарный круг,
чтоб по горлу кувшина вился, гудел курсив
кавалерией, входящей в прорыв, кораблём, спешащим на юг –
потому что длится, тлеет полёт,
глина вскипает, узор растёт,
время всегда «сейчас»,
слой за слоем еще один оборот,
каждый раз это первый раз.

Допустим, с Великого Луга действительный ветер встаёт,
округа сбивается с круга, потом прекращается лёд,
и только мотив неизменный плетет меж воды и корней
узоры царевны морены, наследство ползучих камней,
холмов ледниковую пропись, приречный разгул тростника,
грамматику сколов и стёсов – вовне и внутри языка.

История ДНК – многосложна, обморочна и нелегка:
исходно слово, конечно, создает и держит горы, экосистемы, века,
но в какой-то момент подводит олива (или яблоко), оскальчивается строка,
буквы выламываются из курсива,
твой город прямо с края залива опрокидывается в облака –
и все, привет морякам...

И что ты теперь возвратишь на место, бедный летучий гад,
не видящий пробела для редактуры во внезапной алчбе, пальбе,
когда навстречу тебе по гребню прет varanian guard,
«Hit the road» играющий на трубе?

И что им среди здесь ни вели, что ни предопредели,
но уже сменились порядок букв и состав тектонических плит,
и для местных флоры и физики окружающий их Дали –

вовсе не сюрреализм, а скучный привычный быт.

И пока самый воздух между знаками не стал для тебя ядовит,
ты поспешно вкладываешь в материю всю прочность, весь смысл, который постиг,

чтобы впредь закрыть от любого пользователя этот каверзный алфавит,
бешеный ветер Шрёдингера, летучий свободный стих.

Попутно получают та самая ДН-кислота, эволюция, диабет,
трофическая цепочка, пожары, парусные корабли,
литература... и вот тут ты и узнаешь, что думают о тебе
все четыре – внезапно – разумных вида твоей земли.

Панголиний вирус глядит на скопление белковых тел,
сообщает, что чихать он на нас хотел,
по отдельности, но предпочтительно – в целом.
А чтобы прервать носоглоточный сей стриптиз,
нам давно пора всем кагалом обзавестись
небелковым телом.

Небелковое тело процессором погудит
и на перспективы с сомнением поглядит,
где китайская сборка, хакеры, влажность, случай,
и ответит: «Вирус, хорош морочить мне облака.
Из чего ты сам состоишь? Небось из белка.
Вот и все. Белковые – лучше».

У Творца в который раз убежал первичный бульон,
не воротится к Рождеству.
И Творец оглядывается на внезапно наступивший конец времен
как Наполеон на Москву.
Он галактики разгонял, как дворовых голубей,
выстраивал элементы и лично изобрел «ять».
А разумная жизнь не получается, хоть убей,
собственно, вот опять.

А мятежный бульон в это время ползет к Земле
под защитой кометных стай.
Он биологическая машина – но не зол, не глуп и не слеп,
и все понимает про подобие и про рай,
про познание зла (плод всегда ядовит),
про страх, отравляющий сердце дома, причала и маяка...
Значит, если нам нужен разумный вид –
если нам нужен по-настоящему разумный, наделенный свободой воли
бесстрашный биологический вид,

то его с нуля даже небо не сотворит,
только в рост, изнутри – речь, решения, алфавит...
в общем, нужно начинать очень издалека.

И пока бульон по маршруту дальше летит,
гонимый силой частиц,
ему, наверно, приятно знать,
что городские вороны освоили устный счет – по каррной мере до десяти,
и в ненастье порой кормят тех голубей и других птиц –
чтобы греться их теплом и спокойно спать.

Все Маяковский правильно понимал,
нет, не про Маркса и солнце – а про финал
тех, кто задумал клеить новое небо
из человечины, плоть преобразовав
в то, что не требует ни галифе, ни прав,
ни облаков, ни Марии, ни (особенно) ширпотреба.

Все угадал, как совсем другой полиглот:
хриплый фокстрот до сих пор нам в ночи поет
много надежней, чем эта их трехлинейка,
и на знаменах тех, кто вторгнется в ад,
будет написано «кофе», «чай», «сопромат»,
«танцы», и, конечно же, «канарейка!»

А. Штыпелю

Через Шлях с отростками рек, через вздох, через вечер,
потихоньку шёл человек, состоящий из речи.
Пел, курил ли, голосовал – ждал машин многоосных –
всё по буковке фильтровал окружающий космос –
вроде холоден, ядовит, делит звёзды в тумане,
но завёлся в нём алфавит, что пригоден дыханью,
и отращивает слова, и моргает гортанно
огонёк посредь рукава – подвези до Фонтана.